



МИРОВАЯ КЛАССИКА

Л.Н. ТОЛСТОЙ



Повести и рассказы

Лев Николаевич Толстой

**Из записок князя
Д.Нехлюдова (Люцерн)**
(Повести)

Лев Николаевич Толстой

Из записок князя Д. Нехлюдова. Люцерн

8 июля

Вчера вечером я приехал в Люцерн и остановился в лучшей здешней гостинице, Швейцергофе.

«Люцерн, старинный кантональный город, лежащий на берегу озера четырех кантонов, – говорит Мургау, – одно из самых романтических местоположений Швейцарии; в нем скрещиваются три главные дороги; и только на час езды на пароходе находится гора Риги, с которой открывается один из самых великолепных видов в мире».

Справедливо или нет, другие *гиды* говорят то же, и потому путешественников всех наций, и в особенности англичан, в Люцерне – бездна.

Великолепный пятиэтажный дом Швейцергофа построен недавно на набережной, над самым озером, на том самом месте, где в старину был деревянный, крытый, извили-

стый мост, с часовнями на углах и образами на стропилах. Теперь благодаря огромному наезду англичан, их потребностям, их вкусу и их деньгам старый мост сломали и на его месте сделали цокольную, прямую, как палка, набережную; на набережной построили прямые четвероугольные пятиэтажные дома; а перед домами в два ряда посадили липки, поставили подпорки, а между липками, как водится, зеленые лавочки. Это – гулянье; и тут взад и вперед ходят англичанки в швейцарских соломенных шляпах и англичане в прочных и удобных одеждах и радуются своему произведению. Может быть, что эти набережные, и дома, и липки, и англичане очень хорошо где-нибудь, – но только не здесь, среди этой странно величавой и вместе с тем невыразимо гармонической и мягкой природы.

Когда я вошел наверх в свою комнату и отворил окно на озеро, красота этой воды, этих гор и этого неба в первое мгновение буквально ослепила и потрясла меня. Я почувствовал внутреннее беспокойство и потребность выразить как-нибудь избыток чего-то, вдруг пе-

реполнившего мою душу. Мне захотелось в эту минуту обнять кого-нибудь, крепко обнять, защекотать, ущипнуть его, вообще сделать с ним и с собой что-нибудь необыкновенное.

Был седьмой час вечера. Целый день шел дождь, и теперь разгуливалось. Голубое, как горящая сера, озеро, с точками лодок и их пропадающими следами, неподвижно, гладко, как будто выпукло расстилалось перед окнами между разнообразными зелеными берегами, уходило вперед, сжимаясь между двумя громадными уступами, и, темнея, упиралось и исчезало в нагроможденных друг на друге долинах, горах, облаках и льдинах. На первом плане мокрые светло-зеленые разбегающиеся берега с тростником, лугами, садами и дачами; далее темно-зеленые поросшие уступы с развалинами замков; на дне скомканная бело-лиловая горная даль с причудливыми скалистыми и бело-матовыми снеговыми вершинами; и все залитое нежной, прозрачной лазурью воздуха и освещенное прорвавшимся с разорванного неба жаркими лучами заката. Ни на озере, ни на горах, ни на небе ни одной

цельной линии, ни одного цельного цвета, ни одного одинакового момента, везде движение, несимметричность, причудливость, бесконечная смесь и разнообразие теней и линий, и во всем спокойствие, мягкость, единство и необходимость прекрасного. И тут, среди неопределенной, запутанной свободной красоты, перед самым моим окном, глупо, фокусно торчала белая палка набережной, липки с подпорками и зеленые лавочки – бедные, пошлые людские произведения, не утонувшие так, как дальние дачи и развалины, в общей гармонии красоты, а, напротив, грубо противоречащие ей. Беспрестанно, невольно мой взгляд сталкивался с этой ужасно прямой линией набережной и мысленно хотел оттолкнуть, уничтожить ее, как черное пятно, которое сидит на носу под глазом; но набережная с гуляющими англичанами оставалась на месте, и я невольно старался найти точку зрения, с которой бы мне ее было не видно. Я выучился смотреть так, и до обеда один сам с собою наслаждался тем неполным, но тем слаще томительным чувством, которое испытываешь при одиноком созерцании

красоты природы.

В половине восьмого меня позвали обедать. В большой великолепно убранной комнате, в нижнем этаже, были накрыты два длинные стола, по крайней мере, человек на сто. Минуты три продолжалось молчаливое движение сбора гостей: шуршанье женских платьев, легкие шаги, тихие переговоры с учтивейшими и изящнейшими кельнерами; и все приборы были заняты мужчинами и дамами, весьма красиво, даже богато и вообще необыкновенно чистоплотно одетыми. Как вообще в Швейцарии, большая часть гостей – англичане, и потому главные черты общего стола – строгое, законом признанное приличие, несообщительность, основанные не на гордости, но на отсутствии потребности сближения, и одинокое довольство в удобном и приятном удовлетворении своих потребностей. Со всех сторон блещут белейшие кружева, белейшие воротнички, белейшие настоящие и вставные зубы, белейшие лица и руки. Но лица, из которых многие очень красивы, выражают только сознание собственного благосостояния и совершенное отсутствие вни-

мания ко всему окружающему, что не прямо относится к собственной особе, и белейшие руки с перстнями и в митенях движутся только для поправления воротничков, разрезывания говядины и наливания вина в стаканы. никакое душевное волнение не отражается в их движениях. Семейства изредка тихим голосом перекидываются словами о приятном вкусе такого-то кушанья или вина и красивом виде с горы Риги. Одинокие путешественники и путешественницы одиноко, молча, сидят рядом, даже не глядя друг на друга. Если изредка из этих ста человек два разговаривают между собою, то наверно о погоде и восхождении на гору Риги. Ножи и вилки чуть слышно двигаются по тарелкам, кушанье берется понемногу, горошек и овощи едятся непременно вилкой; кельнеры, невольно подчиняясь общей молчаливости, шепотом спрашивают о том, какого вина прикажете? На таких обедах мне всегда становится тяжело, неприятно и под конец грустно. Мне все кажется, что я виноват в чем-нибудь, что я наказан, как в детстве, когда за шалость меня сажали на стул и иронически говорили: «От-

дохни, мой любезный!» – в то время как в жилах бьется молодая кровь и в другой комнате слышны веселые крики братьев. Я прежде старался взбунтоваться против этого чувства подавленности, которое испытывал на таких обедах, но тщетно; все эти мертвые лица имеют на меня неотразимое влияние, и я становлюсь таким же мертвым. Я ничего не хочу, не думаю, даже не наблюдаю. Сначала я пробовал заговаривать с соседями; но, кроме фраз, которые, очевидно, повторялись в стотысячный раз на том же месте и в стотысячный раз тем же лицом, я не получал других ответов. И ведь все эти люди не глупые же и не бесчувственные, а, наверное, у многих из этих замерзших людей происходит такая же внутренняя жизнь, как и во мне, у многих и гораздо сложнее и интереснее. Так зачем же они лишают себя одного из лучших удовольствий жизни, наслаждения друг с другом, наслаждения человеком?

То ли дело, бывало, в нашем парижском пансионе, где мы, двадцать человек самых разнообразных наций, профессий и характеров, под влиянием французской общительно-

сти, сходились к общему столу, как на забаву. Там сейчас, с одного конца стола на другой, разговор, пересыпанный шуточками и каламбурами, хотя часто и на ломаном языке, становился общим. Там всякий, не заботясь о том, как выйдет, болтал, что приходило в голову; там у нас были свой философ, свой спорщик, свой *bel esprit* [1], свой пластрон [2], все было общее. Там, тотчас после обеда, мы отодвигали стол и, в такт ли, не в такт ли, принимались по пыльному ковру танцевать *la polka* [3] до самого вечера. Там мы были хоть и кокетливые, не очень умные и почтенные люди, но мы были люди. И испанская графиня с романическими приключениями, и итальянский аббат, декламировавший «Божественную комедию» после обеда, и американский доктор, имевший вход в Тюльери, и юный драматург с длинными волосами, и пьянистка, сочинившая, по собственным словам, лучшую польку в мире, и несчастная красавица вдова с тремя перстнями на каждом пальце, — мы все по-человечески, хотя поверхностно, но приятельно относились друг к другу и унесли друг от друга кто легкие, а кто искренние сер-

дечные воспоминания. За английскими же table d'hôt'ами [4] я часто думаю, глядя на все эти кружева, ленты, перстни, помаженные волосы и шелковые платья: сколько бы живых женщин были счастливы и сделали бы других счастливыми этими нарядами. Странно подумать, сколько тут друзей и любовников, самых счастливых друзей и любовников, сидят рядом, может быть, не зная этого. И бог знает, отчего никогда не узнают этого и никогда не дадут друг другу того счастья, которое так легко могут дать и которого им так хочется.

Мне сделалось грустно, как всегда после таких обедов, и, не доев десерта, в самом невеселом расположении духа, я пошел шляться по городу. Узенькие грязные улицы без освещения, запираемые лавки, встречи с пьяными работниками и женщинами, идущими за водой или, в шляпках, по стенам, оглядываясь, шмыгающими по переулкам, не только не разогнали, но еще усилили мое грустное расположение духа. В улицах уж было совсем темно, когда я, не оглядываясь кругом себя, без всякой мысли в голове, пошел к

дому, надеясь сном избавиться от мрачного настроения духа. Мне становилось ужасно душевно холодно, одиноко и тяжело, как это случается иногда без видимой причины при переездах на новое место.

Я, глядя только себе под ноги, шел по набережной к Швейцергофу, как вдруг меня поразили звуки странной, но чрезвычайно приятной и милой музыки. Эти звуки мгновенно живительно подействовали на меня. Как будто яркий, веселый свет проник в мою душу. Мне стало хорошо, весело. Заснувшее внимание мое снова устремилось на все окружающие предметы. И красота ночи и озера, к которым я прежде был равнодушен, вдруг, как новость, отрадно поразили меня. Я невольно в одно мгновение успел заметить и пасмурное, серыми кусками на темной синеве, небо, освещенное поднимающимся месяцем, и темно-зеленое гладкое озеро с отражающимися в нем огоньками, и вдали мглистые горы, и крики лягушек из Фрёшенбурга, и росистый свежий свист перепелов с того берега. Прямо же передо мной, с того места, с которого слышались звуки и на которое преимущественно

было устремлено мое внимание, я увидел в полумраке на середине улицы полукругом стеснившуюся толпу народа, а перед толпой, в некотором расстоянии, крошечного человека в черной одежде. Сзади толпы и человечка, на темном сером и синем разорванном небе, стройно отделялось несколько черных раин сада и величаво возвышались по обеим сторонам старинного собора два строгие шпица башен.

Я подходил ближе, звуки становились яснее. Я разобрал ясно дальние, сладко колеблющиеся в вечернем воздухе полные аккорды гитары и несколько голосов, которые, перебивая друг друга, не пели тему, а кое-где, выпевая самые выступающие места, давали ее чувствовать. Тема была что-то вроде милой и грациозной мазурки. Голоса казались то близки, то далеки, то слышался тенор, то бас, то горловая фистула с воркующими тирольскими переливами. Это была не песня, а легкий мастерской эскиз песни. Я не мог понять, что это такое; но это было прекрасно. Эти сладострастные слабые аккорды гитары, эта милая, легкая мелодия и эта одинокая фи-

гурка черного человечка среди фантастической обстановки темного озера, просвечивающей луны и молчаливо возвышающихся двух громадных шпицев башен и черных раин сада – все было странно, но невыразимо прекрасно, или показалось мне таким.

Все спутанные, невольные впечатления жизни вдруг получили для меня значение и прелесть. В душе моей как будто распустился свежий благоухающий цветок. Вместо усталости, рассеянья, равнодушия ко всему на свете, которые я испытывал за минуту перед этим, я вдруг почувствовал потребность любви, полноту надежды и беспричинную радость жизни. Чего хотеть, чего желать? – сказалось мне невольно, – вот она, со всех сторон обступает тебя красота и поэзия. Вдыхай ее в себя широкими полными глотками, насколько у тебя есть силы, наслаждайся, чего тебе еще надо! Все твое, все благо...

Я подошел ближе. Маленький человечек был, как казалось, странствующий тиролоец. Он стоял перед окнами гостиницы, выставив ножку, закинув кверху голову, и, бренча на гитаре, пел на разные голоса свою грациоз-

ную песню. Я тотчас же почувствовал нежность к этому человеку и благодарность за тот переворот, который он произвел во мне. Певец, сколько я мог рассмотреть, был одет в старенький черный сюртук, волосы у него были черные, короткие, и на голове была самая мещанская, простая старенькая фуражка. В одежде его ничего не было артистического, но лихая, детски веселая поза и движения с его крошечным ростом составляли трогательное и вместе забавное зрелище. В подъезде, окнах и балконах великолепно освещенной гостиницы стояли блестящие нарядами, широколюбные барыни, господа с белейшими воротниками, швейцар и лакей в золотошитых ливреях; на улице, в полукруге толпы и дальше по бульвару, между липками, собрались и остановились изящно одетые кельнеры, повара в белейших колпаках и куртках, обнявшиеся девицы и гуляющие. Все, казалось, испытывали то же самое чувство, которое испытывал и я. Все молча стояли вокруг певца и внимательно слушали. Все было тихо, только в промежутках песни, где-то вдалеке, равномерно по воде, долетал звук молота и из Фрё-

шенбурга рассыпчатой трелью неслись голоса лягушек, перебиваемые влажным однозвучным свистом перепелов.

Маленький человечек в темноте среди улицы заливался, как соловей, куплет за куплетом и песня за песней. Несмотря на то, что я подошел вплоть к нему, его пенье продолжало доставлять мне большое удовольствие. Небольшой голос его был чрезвычайно приятен, нежность же, вкус и чувство меры, с которыми он владел этим голосом, были необыкновенны и показывали в нем огромное природное дарованье. Припев каждого куплета он всякий раз пел различно, и видно было, что все эти грациозные изменения свободно, мгновенно приходили ему.

В толпе, и наверху в Швейцергофе, и внизу на бульваре, слышался часто одобрительный шепот и царствовало почтительное молчание. На балконах и в окнах все более и более прибавлялось нарядных, живописно в свете огней дома облокотившихся мужчин и женщин. Гуляющие останавливались, и в тени на набережной повсюду кучками около липок стояли мужчины и женщины. Около меня,

куря сигары, стояли, несколько отделившись от всей толпы, аристократические лакей и повар. Повар сильно чувствовал прелесть музыки и при каждой высокой фистульной ноте восторженно-недоумевающе подмигивал всей головой лакею и толкал его локтем с выражением, говорившим: каково поет, а? Лакей, по распутившейся улыбке которого я замечал все им испытываемое удовольствие, на толчки повара отвечал пожиманием плеч, показывавшим, что его удивить довольно трудно и что он слышал многое получше этого.

В промежутке песни, когда певец прокашливался, я спросил у лакея, кто он такой и часто ли сюда приходит.

– Да в лето раза два приходит, – отвечал лакей, – он из Арговии. Так, нищенствует.

– А что, много их таких ходит? – спросил я.

– Да, да, – отвечал лакей, не поняв сразу того, о чем я спрашивал, но, разобрав уж потом мой вопрос, прибавил: – О нет! Здесь я только одного его выдаю. Больше нету.

В это время маленький человечек кончил первую песню, бойко перевернул гитару и

сказал что-то про себя на своем немецком patois [5], чего я не мог понять, но что произвело хохот в окружающей толпе.

– Что это он говорит? – спросил я.

– Говорит, что горло пересохло, выпил бы вина, – перевел мне лакей, стоявший подле меня.

– А что, он, верно, любит пить?

– Да эти все люди такие, – отвечал лакей, улыбнувшись и махнув на него рукою.

Певец снял фуражку и, размахнув гитарой, приблизился к дому. Закинув голову, он обратился к господам, стоявшим у окон и на балконах: «Messieurs et mesdames, – сказал он полуитальянским, полунемецким акцентом и с теми интонациями, с которыми фокусники обращаются к публике, – si vous croyez que je gagne quelque chose, vous vous trompez; je ne suis qu'un pauvre diable» [6]. Он остановился, помолчал немного; но так как никто ему ничего не дал, он снова вскинул гитару и сказал: «A présent, messieurs et mesdames, je vous chanterai l'air du Righi» [7]. Наверху публика молчала, но продолжала стоять в ожидании следующей песни, внизу в толпе засмеялись,

должно быть, тому, что он так странно выражался, и тому, что ему ничего не дали. Я дал ему несколько сантимов, он ловко перекинул их из руки в руку, засунул в карман жилета и, надев фуражку, снова начал петь грациозную милую тирольскую песенку, которую он называл *l'air du Righi*. Эта песня, которую он оставлял для заключения, была еще лучше всех прежних, и со всех сторон в увеличившейся толпе слышались звуки одобрения. Он кончил. Снова он размахнул гитарой, снял фуражку, выставил ее вперед себя, на два шага приблизился к окнам и снова сказал свою непонятную фразу: «*Messieurs et mesdames, si vous croyez que je gagne quelque chose*», – которую он, видно, считал очень ловкой и остроумной, но в голосе и движениях его я заметил теперь некоторую нерешительность и детскую робость, которые были особенно поразительны с его маленьким ростом. Элегантная публика все так же живописно в свете огней стояла на балконах и в окнах, блестя богатыми одеждами; некоторые умеренно-приличным голосом разговаривали между собой, очевидно, про певца, который с вытянутой

рукой стоял перед ними, другие внимательно, с любопытством смотрели вниз на эту маленькую черную фигурку, на одном балконе слышался звучный и веселый смех молодой девушки. В толпе внизу громче и громче слышался говор и посмеиванье. Певец в третий раз повторил свою фразу, но еще слабейшим голосом, и даже не закончил ее и снова вытянул руку с фуражкой, но тотчас же и опустил ее. И во второй раз из этих сотни блестяще одетых людей, столпившихся слушать его, ни один не бросил ему *копейки*. Толпа безжалостно захохотала. Маленький певец, как мне показалось, сделался еще меньше, взял в другую руку гитару, поднял над головой фуражку и сказал: «Messieurs et mesdames, je vous remercie et je vous seuhaite une bonne nuit» [8], – и надел фуражку. Толпа загоготала от радостного смеха. С балконов стали понемногу скрываться красивые мужчины и дамы, спокойно разговаривая между собою. На бульваре снова возобновилось гулянье. Молчаливая во время пения, улица снова оживилась, несколько человек только, не подходя к нему, смотрели издалека на певца и смеялись. Я

слышал, как маленький человек что-то проговорил себе под нос, повернулся и, как будто сделавшись еще меньше, скорыми шагами пошел к городу. Веселые гуляки, смотревшие на него, все так же в некотором расстоянии следовали за ним и смеялись...

Я совсем растерялся, не понимал, что это все значит, и, стоя на одном месте, бессмысленно смотрел в темноту на удалявшегося крошечного человека, который, растягивая большие шаги, быстро шел к городу, и на смеющихся гуляк, которые следовали за ним. Мне сделалось больно, горько и, главное, стыдно за маленького человека, за толпу, за себя, как будто бы я просил денег, мне ничего не дали и надо мною смеялись. Я, тоже не оглядываясь, с защемленным сердцем, скорыми шагами пошел к себе домой на крыльцо Швейцергофа. Я не отдавал еще себе отчета в том, что испытывал, только что-то тяжелое, неразрешившееся наполняло мне душу и давило меня.

На великолепном, освещенном подъезде мне встретился учтиво сторонившийся швейцар и английское семейство. Плотный, краси-

вый и высокий мужчина с черными английскими бакенбардами, в черной шляпе и с пледом на руке, в которой он держал богатую трость, лениво, самоуверенно шел под руку с дамой в диком шелковом платье, в чепце с блестящими лентами и прелестнейших кружевах. Рядом с ними шла хорошенькая, свеженькая барышня в грациозной швейцарской шляпе с пером, à la mousquetaire [9], из-под которой вокруг ее беленького личика падали мягкие длинные светло-русые букли. Впереди подпрыгивала десятилетняя румяная девочка, с полными белыми коленками, видневшимися из-под тончайших кружев.

– Прелестная ночь, – сказала дама сладким, счастливым голосом, в то время как я проходил.

– Оhe! – промычал лениво англичанин, которому, видимо, было так хорошо жить на свете, что и говорить не хотелось. И всем им, казалось, так было спокойно, удобно, чисто и легко жить на свете, такое в их движениях и лицах выражалось равнодушие ко всякой чужой жизни и такая уверенность в том, что швейцар им посторонится и поклонится, и

что, воротясь, они найдут чистую, покойную постель и комнаты, и что все это должно быть, и что на все это имеют полное право, — что я вдруг невольно противопоставил им странствующего певца, который, усталый, может быть, голодный, с стыдом убежал теперь от смеющейся толпы, — понял, что таким тяжелым камнем давило мне сердце, и почувствовал невыразимую злобу на этих людей. Я два раза прошел туда и назад мимо англичанина, с невыразимым наслаждением оба раза, не сторонясь ему, толкнув его локтем, и, спустившись с подъезда, побежал в темноте по направлению к городу, куда скрылся маленький человек.

Догнав трех человек, шедших вместе, я спросил у них, где певец; они, смеясь, указали мне его впереди. Он шел один, скорыми шагами, никто не приближался к нему, он все что-то, как мне показалось, сердито бормотал себе под нос. Я поравнялся с ним и предложил ему пойти куда-нибудь вместе выпить бутылку вина. Он шел все так же скоро и недовольно оглянулся на меня; но, разобрав, в чем дело, остановился.

– Что ж, я не откажусь, ежели вы так добры, – сказал он. – Вот тут есть маленький кафе, туда зайти можно – простенькое, – прибавил он, указывая на распивную лавочку, которая была еще отворена.

Его слово «простенькое» невольно навело меня на мысль не идти в простенькое кафе, а идти в Швейцергоф, туда, где были те, которые его слушали. Несмотря на то, что он с робким волнением несколько раз отказывался от Швейцергофа, говоря, что там слишком парадно, я настоял на своем, и он, притворяясь уже, что нисколько не смущен, весело размахивая гитарой, пошел со мной назад по набережной. Несколько праздных гуляк, как только я подошел к певцу, пододвинулись, прислушались к тому, что я говорил, и теперь, рассуждая между собой, пошли за нами до самого подъезда, ожидая, верно, от тирольца еще какого-нибудь представления.

Я спросил бутылку вина у кельнера, который встретился мне в сенях. Кельнер, улыбаясь, посмотрел на нас и, ничего не ответив, пробежал мимо. Старший кельнер, к которому я обратился с той же просьбой, серьезно

выслушал меня и, оглядев с ног до головы робкую, маленькую фигуру певца, строго сказал швейцару, чтоб нас провели в залу налево. Зала налево была распивная комната для простого народа. В углу этой комнаты горбатая служанка мыла посуду, и вся мебель состояла в деревянных голых столах и лавках. Кельнер, который пришел служить нам, поглядывая на нас с кроткой насмешливой улыбкой и засунув руки в карманы, переговаривался о чем-то с горбатой судомойкой. Он, видимо, старался дать нам заметить, что, чувствуя себя по общественному положению и достоинствам неизмеримо выше певца, ему не только не обидно, но истинно забавно служить нам.

– Простого вина прикажете? – сказал он с знающим видом, подмигивая мне на моего собеседника и из руки в руку перекидывая салфетку.

– Шампанского, и самого лучшего, – сказала я, стараясь принять самый гордый и величественный вид. Но ни шампанское, ни мой будто бы гордый и величественный вид не подействовали на лакея; он усмехнулся, по-

стоял немножко, глядя на нас, не торопясь посмотрел на золотые часы и тихими шагами, как бы прогуливаясь, вышел из комнаты. Скоро он возвратился с вином и еще двумя лакеями. Два из них сели около судомойки и с веселой внимательностью и кроткой улыбкой на лицах любовались на нас, как любят родители на милых детей, когда они мило играют. Одна только горбатая судомойка, казалось, не насмешливо, а с участием смотрела на нас. Хотя мне было и очень тяжело и неловко под огнем этих лакейских глаз беседовать с певцом и угощать его, я старался делать свое дело сколь возможно независимо. При огне я его рассмотрел лучше. Это был крошечный, пропорционально сложенный, жилистый человек, почти карлик, с щетинистыми черными волосами, всегда плачущими большими черными глазами, лишенными ресниц, и чрезвычайно приятным, умильно сложенным ротиком. У него были маленькие бакенбарды, волоса были недлинные, одежда была самая простая и бедная. Он был нечист, оборван, загорел и вообще имел вид трудового человека. Он скорее был похож на бедного

торговца, чем на артиста. Только в постоянно влажных, блестящих глазах и собранном ротике было что-то оригинальное и трогательное. На вид ему можно было дать от двадцати пяти до сорока лет; действительно же ему было тридцать восемь.

Вот что он с добродушной готовностью и очевидной искренностью рассказал про свою жизнь. Он из Арговии. В детстве еще он потерял отца и мать, других родных у него нет. Состояния он никогда не имел никакого. Он обучался столярному мастерству, но двадцать два года тому назад у него сделался костоед в руке, лишивший его возможности работать. Он с детства имел охоту к пенью и стал петь. Иностранцы давали ему изредка деньги. Он сделал из этого профессию, купил гитару и вот восемнадцатый год странствует по Швейцарии и Италии, распевая перед гостиницами. Весь его багаж – гитара и кошелек, в котором у него теперь было только полтора франка, которые он должен проспать и проесть нынче же вечером. Он каждый год, уж восемнадцать раз, проходит все лучшие, наиболее посещаемые места Швейцарии: Цюрих, Лю-

церн, Интерлакен, Шамуни и т. д.; через St.-Bernard проходит в Италию и возвращается через St.-Gotard или через Савойю. Теперь ему тяжело становится ходить, потому что от простуды он чувствует, что боль в ногах, которую он называет глидерзухт, с каждым годом усиливается и что глаза и голос его становятся слабее. Несмотря на это, он теперь отправляется в Интерлакен, Aix-les-Bains и, через малый St.-Bernard, в Италию, которую он особенно любит; вообще, как кажется, он очень доволен своей жизнью. Когда я спросил у него, зачем он возвращается домой, есть ли у него там родные, или дом и земля, ротик его, как будто на сборках, собрался в веселую улыбочку, и он отвечал мне.

– Oui, le sucre est bon, il est doux pour les enfants! [10] — и подмигнул на лакеев.

Я ничего не понял, но в лакейской группе засмеялись.

– Ничего нет, а то разве я бы стал ходить так, — объяснил он мне, — а прихожу домой, потому что все-таки как-то тянет к себе на родину.

И он еще раз с хитро-самодовольной улыб-

кой повторил фразу: «Oui, le sucre est bon», – и добродушно рассмеялся. Лакеи очень были довольны и хохотали, одна горбатая судомойка большими добрыми глазами серьезно смотрела на маленького человечка и подняла ему шапку, которую он во время разговора уронил с лавки. Я замечал, что странствующие певцы, акробаты, даже фокусники любят называть себя артистами, и потому несколько раз намекал своему собеседнику на то, что он артист, но он вовсе не признавал за собой этого качества, а весьма просто, как на средство к жизни, смотрел на свое дело. Когда я спросил его, не сам ли он сочиняет песни, которые поет, он удивился такому странному вопросу и отвечал, что куда ему, это всё старинные тирольские песни.

– А как же песня Риги? я думаю, не старинная? – сказал я.

– Да, это лет пятнадцать тому назад сочинена. Был один немец в Базеле, умнейший был человек, это он сочинил ее. Отличная песня! Это, видите, он для путешественников сочинил.

И он начал мне, переводя по-французски,

рассказывать слова песни Риги, которая, видно, ему очень нравилась:

*Коли хочешь идти на Риги,
До Вегиса не нужно башмаков
(Потому что на пароходе едут),
А от Вегиса возьми большую пал-
ку,
Да еще под руку возьми девицу,
Да зайди выпить стаканчик вина.
Только пей не слишком много,
Потому что тот, кто хочет
пить,
Должен заслужить прежде...*

– О, отличная песня! – заключил он.

Лакеи находили, вероятно, эту песню весьма хорошей, потому что приблизились к нам.

– Ну, а музыку кто же сочинял? – спросил я.

– Да никто, это так, знаете, чтобы петь для иностранцев, надо что-нибудь новенькое.

Когда нам принесли льду и я налил моему собеседнику стакан шампанского, ему, видимо, стало неловко, и он, оглядываясь на лакеев, поворачивался на своей лавке. Мы чокнулись за здоровье артистов; он отпил полстакана и нашел нужным задуматься и глубоко-

мысленно повести бровями.

– Давно я не пил такого вина, je ne vous dis que ça [11]. В Италии вино d'Asti хорошо, но это еще лучше. Ах, Италия! славно там быть! – прибавил он.

– Да, там умеют ценить музыку и артистов, – сказал я, желая навести его на вечернюю неудачу перед Швейцергофом.

– Нет, – отвечал он, – там насчет музыки я никому не могу удовольствия доставить. Итальянцы сами музыканты, каких нет на всем свете; но я только насчет тирольских песен. Это им все-таки новость.

– Что ж, там щедрее господа? – продолжал я, желая его заставить разделить мою злобу на обитателей Швейцергофа. – Там не случится так, как здесь, чтобы из огромного отеля, где богачи живут, сто человек бы слушали артиста и ничего бы ему не дали...

Мой вопрос подействовал совсем не так, как я ожидал. Он и не думал негодовать на них; напротив, в моем замечании он видел упрек своему таланту, который не вызвал награды, и старался оправдаться передо мной.

– Не всякий раз много получишь, – отвечал

он. – Иногда и голос пропадет, устанешь, – ведь я нынче девять часов прошел и пел целый день почти. Оно трудно. А важные господа аристократы, им иногда и но хочется слушать тирольские песни.

– Все-таки, как же ничего не дать? – повторил я. Он не понял моего замечания.

– Не то, – сказал он, – а здесь главное *on est très serré pour la police* [12], вот что. Здесь по этим республиканским законам вам не позволяют петь, а в Италии вы можете ходить сколько хотите, никто вам слова не скажет. Здесь ежели захотят вам позволить, то позволят, а не захотят, то вас в тюрьму посадить могут.

– Как, неужели?

– Да. Ежели вам раз заметят, а вы будете еще петь, – вас могут в тюрьму посадить. Я уж просидел три месяца, – сказал он, улыбаясь, как будто это было одно из самых приятных его воспоминаний.

– Ах, это ужасно! – сказал я. – За что же?

– Это так у них по новым законам республики, – продолжал он, одушевляясь. – Они этого не хотят рассудить, что надо, чтобы и

бедняк жил как-нибудь. Ежели бы я был не калека, я бы работал. А что я пою, так разве я кому-нибудь вред этим делаю? Что ж это такое? богатым жить можно, как хотят, а un pauvre tiarle [13], как я, уж и жить не может. Что ж это за законы республики? Коли так, то мы не хотим республики, не так ли, милостивый государь? мы не хотим республики, а мы хотим... мы хотим просто... мы хотим... – он замялся немного, – мы хотим натуральные законы. Я подлил ему еще в стакан.

– Вы не пьете, – сказал я ему.

Он взял в руку стакан и поклонился мне.

– Я знаю, что вы хотите, – сказал он, прищуривая глаз и грозя мне пальцем, – вы хотите подпоить меня, посмотреть, что из меня будет; но нет, это вам не удастся.

– Зачем же мне вас напоить, – сказал я, – я только желал бы вам сделать удовольствие.

Ему, верно, жалко стало, что он обидел меня, дурно объяснив мое намерение, он смутился, привстал и пожал меня за локоть.

– Нет, нет, – сказал он, с умоляющим выражением глядя на меня своими влажными глазами, – я так только, шучу.

И вслед за этим он произнес какую-то ужасно запутанную, хитрую фразу, долженствовавшую означать, что я все-таки добрый мальчик.

– Je ne vous dis que ça! [14] – заключил он.

Таким образом, мы продолжали пить и беседовать с певцом, а лакеи продолжали, не стесняясь, любоваться нами и, кажется, подтрунивать. Несмотря на интерес моего разговора, я не мог не замечать их и, признаюсь, сердился все больше и больше. Один из них привстал, подошел к маленькому человечку и, глядя ему в маковку, стал улыбаться. У меня уж был готовый запас злобы на обитателей Швейцергофа, который я не успел еще сорвать ни на ком, и теперь, признаюсь, эта лакейская публика так и подмывала меня. Швейцар, не снимая фуражки, вошел в комнату и, облокотившись на стол, сел подле меня. Это последнее обстоятельство, задев мое самолюбие или тщеславие, окончательно взорвало меня и дало исход той давившей злобе, которая весь вечер собиралась во мне. Зачем у подъезда, когда я один, он мне униженно кланяется, а теперь, потому что я сижу с

странствующим певцом, он грубо рассаживается рядом со мной? Я совсем озлился той кипящей злобой негодования, которую я люблю в себе, возбуждаю даже, когда на меня находит, потому что она успокоительно действует на меня и дает мне хоть на короткое время какую-то необыкновенную гибкость, энергию и силу всех физических и моральных способностей. Я вскочил с места.

– Чему вы смеетесь? – закричал я на лакея, чувствуя, как лицо мое бледнеет и губы невольно подергиваются.

– Я не смеюсь, я так, – отвечал лакей, отступая от меня.

– Нет, вы смеетесь над этим господином. И какое право вы имеете тут быть и сидеть здесь, когда тут гости. Не смей сидеть! – закричал я.

Швейцар, ворча что-то, встал и отодвинулся к двери.

– Какое вы имеете право смеяться над этим господином и сидеть с ним рядом, когда он гость, а вы лакей? Отчего вы не смеялись надо мной нынче за обедом и не садились со мной рядом? Оттого, что он бедно одет и поет

на улице? от этого; а на мне хорошее платье. Он беден, но в тысячу раз лучше вас, в этом я уверен. Потому что он никого не оскорбил, а вы оскорбляете его.

– Да я ничего, что вы, – робко отвечал мой враг лакей. – Разве я мешаю ему сидеть.

Лакей не понимал меня, и моя немецкая речь пропадала даром. Грубый швейцар вступился было за лакея, но я напал на него так стремительно, что швейцар притворился, что тоже не понимает меня, и махнул рукой. Горбатая судомойка, заметив ли мое разгоряченное состояние и боясь скандалу, или разделяя мое мнение, приняла мою сторону и, стараясь стать между мной и швейцаром, уговаривала его молчать, говоря, что я прав, а меня просила успокоиться. «Der Herr hat Recht; Sie haben Recht» [15], – твердила она. Певец представлял самое жалкое, испуганное лицо и, видимо, не понимая, из чего я горячусь и чего я хочу, просил меня уйти поскорее отсюда. Но во мне все больше и больше разгоралась злобная словоохотливость. Я все припомнил: и толпу, которая смеялась над ним, и слушателей, ничего не давших ему, и ни за что на свете не

хотел успокоиться. Я думаю, что, если бы кельнеры и швейцар не были так уклончивы, я бы с наслаждением подрался с ними или палкой по голове прибил бы беззащитную английскую барышню. Если бы в эту минуту я был в Севастополе, я бы с наслаждением бросился колоть и рубить в английскую траншею.

– И отчего вы провели меня с этим господином в эту, а не в ту залу? А? – допрашивал я швейцара, ухватив его за руку, с тем чтобы он не ушел от меня. – Какое вы имели право по виду решать, что этот господин должен быть в этой, а не в той зале? Разве, кто платит, не все равны в гостиницах? Не только в республике, но во всем мире. Паршивая ваша республика!.. Вот оно равенство! Англичан вы бы не смели провести в эту комнату, тех самых англичан, которые даром слушали этого господина, то есть украли у него каждый по несколько сантимов, которые должны были дать ему. Как вы смели указать эту залу?

– Та зала заперта, – отвечал швейцар.

– Нет, – закричал я, – неправда, не заперта зала.

– Так вы лучше знаете.

– Знаю, знаю, что вы лжете.

Швейцар повернулся плечом прочь от меня.

– Э! что говорить! – проворчал он.

– Нет, не «что говорить», – закричал я, – а ведите меня сию минуту в залу.

Несмотря на увещанья горбуньи и просьбы певца идти лучше по домам, я потребовал обер-кельнера и пошел в залу вместе с моим собеседником. Обер-кельнер, услышав мой озлобленный голос и увидав мое взволнованное лицо, не стал спорить и с презрительной учтивостью сказал, что я могу идти, куда мне угодно. Я не мог доказать швейцару его лжи, потому что он скрылся еще прежде, чем я вошел в залу.

Зала была действительно отперта, освещена, и на одном из столов сидели, ужиная, англичанин с дамой. Несмотря на то, что нам указывали особый стол, я с грязным певцом подсел к самому англичанину и велел сюда подать нам неоконченную бутылку.

Англичане сначала удивленно, потом озлобленно посмотрели на маленького чело-

вечка, который ни жив ни мертв сидел подле меня; они что-то сказали между собой, она оттолкнула тарелку, зашумела шелковым платьем, и оба скрылись. За стеклянными дверями я видел, как англичанин что-то озлобленно говорил кельнеру, беспрестанно указывая рукой по нашему направлению. Кельнер высунулся в дверь и взглянул в нее. Я с радостью ожидал, что придут выводить нас и можно будет наконец вылить на них все свое негодование. Но, к счастью, хотя это тогда мне было неприятно, нас оставили в покое.

Певец, прежде отказывавшийся от вина, теперь торопливо допил все, что оставалось в бутылке, с тем чтобы только поскорей выбраться отсюда. Однако он с чувством, как мне показалось, отблагодарил меня за угощение. Плачущие глаза его сделались еще более плачущими и блестящими, и он сказал мне самую странную, запутанную фразу благодарности. Но все-таки эта фраза, в которой он говорил, что ежели бы все так уважали артистов, как я, то ему было бы хорошо, и что он желает мне всякого счастья, была мне очень приятна. Мы вместе с ним вышли в сени. Тут

стояли лакеи и мой враг швейцар, кажется, жаловавшийся им на меня. Все они, кажется, смотрели на меня, как на умалишенного. Я дал маленькому человечку поравняться со всей этой публикой и тут со всей почтительностью, которую только в состоянии выразить в своей особе, я снял шляпу и пожал ему руку с закостенелым отсохшим пальцем. Лакеи сделали, как будто не обращают на меня ни малейшего внимания. Только один из них засмеялся сардоническим смехом.

Когда певец, раскланиваясь, скрылся в темноте, я пошел к себе наверх, желая записать все эти впечатления и глупую детскую злобу, которая так неожиданно нашла на меня. Но, чувствуя себя слишком взволнованным для сна, я опять пошел на улицу, с тем чтобы ходить до тех пор, пока успокоюсь, и, признаюсь, кроме того, в смутной надежде, что найдется случай сцепиться с швейцаром, лакеем или англичанином и доказать им всю их жестокость и, главное, несправедливость. Но, кроме швейцара, который, увидав меня, повернулся ко мне спиной, я никого не встретил и один-одинешенек стал взад и вперед хо-

дить по набережной.

«Вот она, странная судьба поэзии, – рассуждал я, успокоившись немного. – Все любят, ищут ее, одну ее желают и ищут в жизни, и никто не признает ее силы, никто не ценит этого лучшего блага мира, не ценит и не благодарит тех, которые дают его людям. Спросите у кого хотите, у всех этих обитателей Швейцергофа: что лучшее благо в мире? и все, или девяносто девять на сто, приняв сардоническое выражение, скажут вам, что лучшее благо мира – деньги. „Может быть, мысль эта вам не нравится и не сходится с вашими возвышенными идеями, – скажет он, – но что ж делать, ежели жизнь человеческая так устроена, что одни деньги составляют счастье человека. Я не мог не позволить моему уму видеть свет, как он есть, – прибавит он, – то есть видеть правду“. Жалкий твой ум, жалкое то счастье, которого ты желаешь, и несчастное ты создание, само не знающее, чего тебе надобно... Зачем вы все покинули свое отечество, родных, занятия и денежные дела и столпились в маленьком швейцарском городке Люцерне? Зачем вы все нынче вечером вы-

сыпали на балконы и в почтительном молчании слушали песню маленького нищего? И ежели бы он захотел петь еще, еще бы молчали и слушали. Что, за деньги, хоть за миллионы, вас можно бы было всех выгнать из отечества и собрать в маленьком уголке Люцерне? За деньги вас можно бы было всех собрать на балконах и в продолжение получаса заставить стоять молчаливо и неподвижно? Нет! А заставляет вас действовать одно, и вечно будет двигать сильнее всех других двигателей жизни: потребность поэзии, которую не сознаете, но чувствуете и век будете чувствовать, пока в вас останется что-нибудь человеческое. Слово „поэзия“ вам смешно, вы употребляете его в виде насмешливого упрека, вы допускаете любовь к поэтическому нечто в детях и глупых барышнях, и то вы над ними смеетесь; для вас же нужно положительное. Да дети-то здраво смотрят на жизнь, они любят и знают то, что должен любить человек, и то, что даст счастье, а вас жизнь до того запутала и развратила, что вы смеетесь над тем, что одно любите, и ищете одного того, что ненавидите и что делает ва-

ше несчастье. Вы так запутались, что не понимаете того обязательства, которое вы имеете перед бедным тирольцем, доставившим вам чистое наслаждение, а вместе с тем считаете себя обязанными даром, без пользы и удовольствия, унижаться перед лордом и за чем-то жертвовать ему своим спокойствием и удобством. Что за вздор, что за неразрешимая бессмыслица! Но не это сильней всего поразило меня нынче вечером. Это неведение того, что дает счастье, эту бессознательность поэтических наслаждений я почти понимаю или привык к ней, встречав ее часто в жизни; грубая, бессознательная жестокость толпы тоже была для меня не новость; что бы ни говорили защитники народного смысла, толпа есть соединение хотя бы и хороших людей, но соприкасающихся только животными, гнусными сторонами, и выражающая только слабость и жестокость человеческой природы. Но как вы, дети свободного, человеческого народа, вы, христиане, вы, просто люди, на чистое наслаждение, которое вам доставил несчастный просящий человек, ответили холодностью и насмешкой? Но нет, в нашем

отечестве есть приюты для нищих. – Нищих нет, их не должно быть, и не должно быть чувства сострадания, на котором основано нищенство. – Но он трудился, он радовал вас, он умолял вас дать ему что-нибудь от вашего излишка за свой труд, которым вы воспользовались. А вы с холодной улыбкой наблюдали его как редкость из своих высоких блестящих палат, и из сотни вас, счастливых, богатых, не нашлось ни одного, ни одной, которая бы бросила ему что-нибудь! Пристыженный, он пошел прочь от вас, и бессмысленная толпа, смеясь, преследовала и оскорбляла не вас, а его, – за то, что вы холодны, жестоки и бесчестны; за то, что вы украли у него наслаждение, которое он вам доставил, за это его оскорбляли».

«Седьмого июля 1857 года в Люцерне перед отелем Швейцергофом, в котором останавливаются самые богатые люди, странствующий нищий певец в продолжение получаса пел песни и играл на гитаре. Около ста человек слушало его. Певец три раза просил всех дать ему что-нибудь. Ни один человек не дал ему ничего, и многие смеялись

над ним».

Это не выдумка, а факт положительный, который могут исследовать те, которые хотят, у постоянных жителей Швейцергофа, справившись по газетам, кто были иностранцы, занимавшие Швейцергоф 7 июля.

Вот событие, которое историки нашего времени должны записать огненными неизгладимыми буквами. Это событие значительнее, серьезнее и имеет глубочайший смысл, чем факты, записываемые в газетах и историях. Что англичане убили еще тысячу китайцев за то, что китайцы ничего не покупают на деньги, а их край поглощает звонкую монету, что французы убили еще тысячу кабилов за то, что хлеб хорошо родится в Африке и что постоянная война полезна для формирования войск, что турецкий посланник в Наполеоне не может быть жид и что император Наполеон гуляет пешком в Plombières и печатно уверяет народ, что он царствует только по воле всего народа, – это всё слова, скрывающие или показывающий давно известное; но событие, происшедшее в Люцерне 7 июля, мне кажется совершенно ново, странно и относит-

ся не к вечным дурным сторонам человеческой природы, но к известной эпохе развития общества. Это факт не для истории деяний людских, но для истории прогресса и цивилизации.

Отчего этот бесчеловечный факт, невозможный ни в какой деревне, немецкой, французской или итальянской, возможен здесь, где цивилизация, свобода и равенство доведены до высшей степени, где собираются путешествующие, самые цивилизованные люди самых цивилизованных наций? Отчего эти развитые, гуманные люди, способные, в общем, на всякое честное, гуманное дело, не имеют человеческого сердечного чувства на личное доброе дело? Отчего эти люди, в своих палатах, митингах и обществах горячо заботящиеся о состоянии безбрачных китайцев в Индии, о распространении христианства и образования в Африке, о составлении обществ исправления всего человечества, не находят в душе своей простого первобытного чувства человека к человеку? Неужели нет этого чувства и место его заняли тщеславие, честолюбив и корысть, руководящие этих лю-

дей в их палатах, митингах и обществах? Неужели распространение разумной, себялюбивой ассоциации людей, которую называют цивилизацией, уничтожает и противоречит потребности инстинктивной и любовной ассоциации? И неужели это то равенство, за которое пролито было столько невинной крови и столько совершено преступлений? Неужели народы, как дети, могут быть счастливы одним звуком слова «равенство»?

Равенство перед законом? Да разве вся жизнь людей происходит в сфере закона? Только одна тысячная доля ее подлежит закону, остальная часть происходит вне его, в сфере нравов и воззрения общества. А в обществе лакей одет лучше певца и безнаказанно оскорбляет его. Я лучше одет лакея и безнаказанно оскорбляю лакея. Швейцар считает меня выше, а певца ниже себя; когда я соединился с певцом, он счел себя равным с нами и стал груб. Я стал нагл с швейцаром, и швейцар признал себя ниже меня. Лакей стал нагл с певцом, и певец признал себя ниже его. И неужели это свободное, то, что люди называют положительно-свободное государство, то,

в котором есть хоть один гражданин, которого сажают в тюрьму за то, что он, никому не вредя, никому не мешая, делает одно, что может, для того чтобы не умереть с голода?

Несчастное, жалкое создание человек с своей потребностью положительных решений, брошенный в этот вечно движущийся, бесконечный океан добра и зла, фактов, соображений и противоречий! Веками бьются и трудятся люди, чтобы отодвинуть к одной стороне благо, к другой неблаго. Проходят века, и где бы, что бы ни прикинул беспристрастный ум на весы доброго и злого, весы не колеблются, и на каждой стороне столько же блага, сколько и неблаго. Ежели бы только человек выучился не судить и не мыслить резко и положительно и не давать ответы на вопросы, данные ему только для того, чтобы они вечно оставались вопросами! Ежели бы только он понял, что всякая мысль и ложна и справедлива! Ложна односторонностью, по невозможности человека обнять всей истины, и справедлива по выражению одной стороны человеческих стремлений. Сделали себе подразделения в этом вечном движущем-

ся, бесконечном, бесконечно-перемешанном хаосе добра и зла, провели воображаемые черты по этому морю и ждут, что море так и разделится. Точно нет миллионов других подразделений совсем с другой точки зрения, в другой плоскости. Правда, вырабатываются эти новые подразделения веками, но и веков прошли и пройдут миллионы. Цивилизация – благо; варварство – зло; свобода – благо; неволя – зло. Вот это-то воображаемое знание уничтожает инстинктивные, блаженнейшие первобытные потребности добра в человеческой натуре. И кто определит мне, что свобода, что деспотизм, что цивилизация, что варварство? И где границы одного и другого? У кого в душе так непоколебимо это мерило добра и зла, чтобы он мог мерить им бегущие запутанные факты? У кого так велик ум, чтоб хотя в неподвижном прошедшем обнять все факты и свесить их? И кто видел такое состояние, в котором бы не было добра и зла вместе? И почему я знаю, что вижу больше одного, чем другого, не оттого, что стою не на настоящем месте? И кто в состоянии так совершенно оторваться умом хоть на мгновение от жизни, чтобы

независимо сверху взглянуть на нее? Один, только один есть у нас непогрешимый руководитель, Всемирный Дух, проникающий нас всех вместе и каждого, как единицу, влагающий в каждого стремление к тому, что должно; тот самый дух, который в дереве велит ему расти к солнцу, в цветке велит ему бросить себя к осени и в нас велит нам бессознательно жаться друг к другу.

И этот-то один непогрешимый блаженный голос заглушает шумное, торопливое развитие цивилизации. Кто больше человек и кто больше варвар: тот ли лорд, который, увидав затасканное платье певца, с злобой убежал из-за стола, за его труды не дал ему миллионной доли своего состояния и теперь, сытый, сидя в светлой покойной комнате, спокойно судит о делах Китая, находя справедливыми совершаемые там убийства, или маленький певец, который, рискуя тюрьмой, с франком в кармане, двадцать лет, никому не делая вреда, ходит по горам и долам, утешая людей своим пением, которого оскорбили, чуть не вытолкали нынче и который, усталый, голодный, пристыженный, пошел спать куда-ни-

будь на гниющей соломе?

В это время из города в мертвой тишине ночи я далеко-далеко услышал гитару маленького человечка и его голос.

Нет, – сказалось мне невольно, – ты не имеешь права жалеть о нем и негодовать на благосостояние лорда. Кто свесил внутреннее счастье, которое лежит в душе каждого из этих людей? Вон он сидит теперь где-нибудь на грязном пороге, смотрит в блестящее лунное небо и радостно поет среди тихой, благоуханной ночи, в душе его нет ни упрека, ни злобы, ни раскаянья. А кто знает, что делается теперь в душе всех этих людей, за этими богатыми, высокими стенами? Кто знает, есть ли в них всех столько беззаботной, кроткой радости жизни и согласия с миром, сколько ее живет в душе этого маленького человека? Бесконечна благодать и премудрость того, кто позволил и велел существовать всем этим противоречиям. Только тебе, ничтожному червяку, дерзко, незаконно пытающемуся проникнуть его законы, его намерения, только тебе кажутся противоречия. Он кротко смотрит с своей светлой неизмеримой высо-

ты и радуется на бесконечную гармонию, в которой вы все противоречиво, бесконечно движетесь. В своей гордости ты думал вырваться из законов общего. Нет, и ты с своим маленьким, пошленьким негодованьем на лакеев, и ты тоже ответил на гармоническую потребность вечного и бесконечного...

18 июля 1857 г.

Примечания

остроумец (*франц.*).

[^^^]

2

предмет насмешек (от *франц.* plastron).

[^^^]

ПОЛЬКУ (*франц.*).

[^^^]

4

общими обедами (*франц.*).

[^^^]

5

местном, провинциальном наречии (*франц.*).

[^^^]

6

Милостивые государи и государыни, ежели вы думаете, что я что-нибудь зарабатываю, то вы ошибаетесь; я бедный малый (*искаж. франц.*).

[^^^]

Теперь, милостивые государи и государыни, я спою вам песенку Риги (*франц.*).

[^^^]

8

Милостивые государи и государыни, благодарю вас и желаю вам спокойной ночи (*франц.*).

[^^^]

как мушкетер (*франц.*).

[^^^]

Да, сахар хорош, он приятен для детей!
(франц.)

[^^^]

я ТОЛЬКО ЭТО скажу вам (*франц.*).

[^^^]

много притеснений со стороны полиции
(франц.).

[^^^]

13

бедный малый (*искаж. франц.*).

[^^^]

Я ТОЛЬКО ЭТО СКАЖУ ВАМ! (*франц.*)

[^^^]

Господин прав; вы правы (*нем.*).

[^^^]